



**ТАТЬЯНА МОСКВИНА
В СПОРАХ О РОССИИ:
А. Н. ОСТРОВСКИЙ**



ЛИМБУС ПРЕСС
Санкт-Петербург

Татьяна Москвина

**В спорах о России: А. Н.
Островский: Статьи, исследования**

«Автор»

2009

Москвина Т. В.

В спорах о России: А. Н. Островский: Статьи, исследования /
Т. В. Москвина — «Автор», 2009

Для русской драматургии А. Н. Островский сделал ничуть не меньше, чем Шиллер – для немецкой и Расин с Мольером вместе взятые – для французской. Он – автор сорока семи пьес, большинство из которых уже сто пятьдесят лет не сходит с театральных подмостков и украшает репертуары как столичных, так и провинциальных российских театров. В этой книге известный писатель, драматург и театровед Татьяна Москвина раскрывает перед нами грани неординарной личности А. Н. Островского, своеобразие его мышления и творчества, попутно анализируя последние театральные постановки и экранизации пьес великого драматурга, которого при жизни в московских и петербургских императорских театрах восхищенно называли «наш боженька».

© Москвина Т. В., 2009

© Автор, 2009

Содержание

«Наш боженка»	5
Часть первая	7
Личность Островского: очерк проблемы	7
Жизнь – судьба	9
Ум	12
Просто – непросто	13
Христианин – язычник, порядочный – стихийный	14
Замкнутый – общительный	16
Самолюбивый – скромный	17
Конец ознакомительного фрагмента.	21

Татьяна Владимировна Москвина

В спорах о России: А. Н. Островский: Статьи, исследования

«Наш боженька» *Предисловие автора*

«Наш боженька» – так, уважительно-ласкательно, называли Островского актеры Малого театра.

Не всевластный Господь, не всеведающий Бог, а кто-то, хоть и божественный, но милый, близкий, родной. Гений словесности, а возится с театром, как исправная хозяйка с родным домом. Ведь с его голоса многие артисты делали свои роли – жаль, не оставила нам история этого голоса, не было соответствующих возможностей.

Но «метафизический голос» этого «боженьки» звучал и звучит в русском театре всегда, и Островский – не только основа национального репертуара, но и материал для любых театральных экспериментов всех времен.

Уж с чем-чем, а с главным драматургом, с демиургом национального театра, русским повезло никак не меньше, чем французам с Мольером, а германцам с Шиллером. Он оставил своему народу театр из почти полусотни пьес всех жанров: комедии, мелодрамы, высокие драмы, исторические сочинения. Наконец, он дописал, досложил недосложенный славянский пантеон богов и создал «Снегурочку» – главный русский миф. (Таким образом, русские – единственная нация на свете, которая знает по имени создателя своего мифа!)

Как и Россия на исторической сцене, Островский появился на драматургическом поприще довольно поздно, когда все главные герои мирового театра уже показали себя в полном блеске. До конца жизни Островский сказывался прилежным учеником мирового опыта драмы и в минуты отдыха обычно переводил что-нибудь из итальянцев или Шекспира, объясняя, что это у него нечто вроде «вязанья». Написав «Бешеные деньги», гордился, что сладил-де пьесу «не хуже французов», и действительно, «Бешеные деньги» как камерная салонная комедия и по ведению действия, и по раскрытию характеров, и по блеску реприз – сложены с фантастическим мастерством. Как настоящий русский гений, Островский великолепно усваивал и преображал все чужие (в смысле – не в России изобретенные) ментальные формы. Но, конечно, любим мы его не за это.

Любим мы его за то, что он написал для нас целую страну. Она тоже называется Россия, но на этой России всюду стоит имя ее создателя – это Россия Островского.

В виде десятков томов она стоит на полках библиотек; разыгранная актерами – живет, худо ли, хорошо ли, на сцене и экране. Она рядом, тут, под рукой, и, чтобы оказаться в этой стране, не надо виз и капиталов. И вот именно эту страну, Россию Островского, я полюбила давно, навещаю часто и живу в ней подолгу и обстоятельно.

Мне здесь хорошо. Да только ли мне! Как должен извертеться и запакоститься человек, чтоб его душа не отзывалась на Россию Островского! Ведь в этой стране, какие трагедии и комедии бы там ни свершались, в начале улицы стоит церковь, а в конце – городской, и это не декорации без содержания, а основа этого мира, его Закон. Россия Островского создана по Закону, жившему в душе ее создателя, и создана при этом не в виде ментальной абстракции, а во всем великолепии подробностей живого Бытия.

Чтобы рассказать об этой стране, никак не хватит одной книги, да и одну книгу мне не удалось написать толком. То, что я предлагаю вниманию читателя, – разрозненные «очерки

путешественника», написанные в разные годы и с разной степенью обстоятельности и проникновения в материал.

В первой части собраны очерки, посвященные собственно творчеству А. Н. Островского – его личности, образу Бога в его драмах, его историческим сочинениям, феномену пьесы «Снегурочка».

Во второй части – статьи, написанные по впечатлениям от постановок пьес Островского на сцене и экране примерно за последние двадцать пять лет. В этой части нет полноты научного исследования – это обобщения сугубо личного зрительского опыта.

В любом случае заинтересованный читатель может обратиться к другим исследователям и критикам, я не одна такая «путешественница в Россию Островского». Хотя, конечно, нас – не тех, кто путешествует, тех по-прежнему в изобилии, а тех, кто об этих путешествиях пишет записки, – в современности не больно-то и много.

Автор прекрасно понимает, что сделано недостаточно, однако что-то все-таки сделано и может найти своего читателя. Ведь мною в этих очерках руководила любовь – а то, что натворила любовь, всегда интересно, даже в своих ошибках и заблуждениях.

Татьяна Москвина

Часть первая

Он

Личность Островского: очерк проблемы

Островский не принадлежит к числу забытых или нецененных писателей. Без малого сто пятьдесят лет его пьесы живут на русской сцене, а жизнь и творчество изучаются многочисленными исследователями. Театр никогда не отвергал Островского: в любую эпоху отечественной истории театральные деятели противоположных убеждений обращались к текстам драматурга; с развитием кино и появлением телевидения область применения Островского расширилась; критические попытки развенчать или отрицать творчество драматурга никогда не были успешными, а начиная с 1920-х годов и вовсе прекратились. В числе вечных и великих Островский ведет золотое хрестоматийное существование.

Человеку, собравшемуся прочесть все, что написано об Островском, пришлось бы отдать этому занятию несколько месяцев упорного труда. И надо сказать, человеку сему трудно позабыть. Ему повезет значительно меньше, чем тому, кто решит просто прочесть подряд все сочинения Островского. Этот последний вряд ли получит что-либо, кроме удовольствия. Первому же придется и немало поскучать. Он узнает много полезного и немного интересного.

Изучив некоторые биографии Островского, современный читатель, знакомый с лучшими образцами искусствоведческой мысли второй половины XX века, вправе задаться вопросом: не зародился ли А. Н. Островский на свет каким-то особым образом в виде собрания своих сочинений, с комментариями Добролюбова и Ап. Григорьева на добавку?

Существовал ли в самом деле такой человек?

Очень уж часто Островский выглядит своеобразным «медиумом», при посредстве которого русская жизнь писала саму себя в драматической форме. Этот исполнительный, трудолюбивый медиум будто лишен собственного лица, черты его стерты, тусклы, как из тумана выплывают отдельные малоинтересные свойства – добродушие... работоспособность... страсть к рыболовству.

Однако никак не скажешь, что Островскому не повезло на исследователей. Изучением его жизни и творчества занимались и солидные ученые, кропотливые собиратели фактов (Н. Кашин, А. Ревякин, Е. Холодов, другие), и «писатели о литературе», не лишенные игры воображения, полета мысли (Н. Эфрос, А. Кугель, В. Лакшин, М. Лобанов). Популярную беллетристическую книгу об Островском написал Р. Штильмарк, один из крупных отечественных беллетристов, автор «Наследника из Калькутты»¹. Но не зря предупреждал Н. Эфрос: «Из жизни Островского не сделать ни драмы, ни комедии, весьма и весьма плохо поддается эта жизнь и этот человек на беллетристический подход к себе»².

И не только на беллетристический – пожалуй, что и на любой. В 1970-е годы вышли две большие книги о жизни Островского, книги, по-разному учитывающие всю сумму известных фактов: в серии «Жизнь в искусстве» – В. Я. Лакшина, в серии «Жизнь замечательных людей» – М. П. Лобанова. У этих разнонаправленных книг есть общая черта: их можно назвать книгами о времени, в котором жил Островский, и о людях, которых знал Островский. Обо всем этом читатель получает ясное представление. Сам Островский так и остается «вещью в себе». Те, кто жил вместе с ним, получают под пером Лакшина, равно как и в изображении

¹ См.: Штильмарк Р. А. За Москвой-рекой. М.: Молодая гвардия, 1973.

² Эфрос Н. Е. А. Н. Островский. Пг.: Колос, 1922. С. 20.

Лобанова, более яркими и рельефными – что М. Погодин, что Ап. Григорьев, что Ф. Достоевский... Я никак не хочу усомниться в колоритности незаурядных, а часто и гениальных людей, живших в эпоху Островского. Но невозможно примириться и с тем, что создатель русского театра как бы оказывается лишен личностного колорита. М. Лобанов выходит из затруднительного положения, объясняя Островского тем, что тот был русский и любил все русское. Так и Некрасов вроде как не финн, и Лев Толстой не француз – а, кстати сказать, любить «все русское» может и иноземец, даже, как кажется, ему это пристойнее будет.

Если исследователь всерьез работает над изучением личности Островского, он сразу предупреждает о некоторой ее загадочности: и восстановить, и понять образ Островского трудно. «Островский мало помог своему биографу, – пишет В. Лакшин. – В его поведении нет и намек на величавую историческую поступь. Он никогда не гляделся в литературное зеркало, не стремился себя запечатлеть и показаться с выгодной стороны в глазах потомства. Не писал дневников и писем в расчете на посторонние глаза»³.

Можно и еще добавить: не отвечал на критику, не вступал в полемику, не писал публицистических статей, не подписывал коллективных протестов, избегал публичных выступлений с речами...

Мудрено ли, что потомки разводят руками, когда и современники были в недоумении. «Мы не знаем, – писал критик

А. Урусов в 1881 году, – каковы его идеалы, какие его религиозные и поэтические убеждения. Он пишет себе комедии, без всяких предисловий, и больше ничего. <...> Отец семейства, на вид кажется человеком коренастым и здоровым, пользуется умеренным материальным благосостоянием, добытым честным литературным трудом; зимою живет в Москве, летом – у себя в деревне. Вот и все»⁴.

А вот слова П. Боборыкина: «О нашем драматурге мы знаем чрезвычайно мало. <...>... трудно даже определить, под какими умственными, социальными, эстетическими влияниями развился он как писатель и гражданин. <...>... неопределенность интеллигентной физиономии»⁵.

Эти речи напоминают донесение московского обер-полицмейстера, сделанное им в 1850 году графу А. Закревскому. Обер-полицмейстер выразился о нашем драматурге так: «Поведения и образа жизни он хорошего, но каких мыслей – положительно заключить невозможно»⁶.

Кстати, и А. И. Урусов, и П. Д. Боборыкин лично знали Островского много лет. Кажется, отчего не спросить, коли что неясно. Островский не был болтлив, но и молчуном его никак не назовешь. Видимо, недаром журналистика сформировала впоследствии жанр интервью – чтобы не было более подобных личностных загадок.

Однако, воля ваша, в поведении Островского видна своеобразная «программа». Его публичные проявления строго отмерены и жестко скомпонованы в едином направлении.

Я называю эту программу «антилирической», понимая, что читатель потребует тут разъяснений. Лирический способ творческой жизни предполагает, что человек не только обнаруживает, но и обнаружит определенным образом свою личность, обнаруживает-обнаружит сам процесс ее бытия. Когда «уединенное», «сокровенное» издается тысячными тиражами – это есть лирика; активное самовыражение творца в общественной жизни – тоже лирика. Островский отдавал миру только результат. Остальное – спрятано.

Н. Е. Эфрос, находя краткие и гладкие определения для жизни и личности Островского, все-таки точно почувствовал неладное: «Спокойная зоркость и спокойные чувства, умудрен-

³ Лакшин В. Я. А. Н. Островский. М.: Искусство, 1976. С. 3–5.

⁴ Порядок. 1881. 22 января.

⁵ Боборыкин П. Д. Островский и его сверстники // Слово. 1878. № 8. Август. Отд. II. С. 44.

⁶ Цит. по: Коган Л. Р. Летопись жизни и творчества А. Н. Островского. М.: Госкультпросвет, 1953. С. 39.

ная и умиротворенная любовь к жизни... <...>...таким глядит художник из своих драм... <...>... и таким он был в действительности. Или слишком глубоко затаил правду своей природы, так глубоко, что осталась она неразличимой для всякого постороннего глаза, даже неугадываемой. И знаем мы пока не подлинное лицо – лишь маску. Но вряд ли так...»⁷

Да, казалось бы, «затаил» – какое-то сложное, хитроумное действие, никак не вяжущееся с обликом Островского. А если предположить, что неприязнь к лирическому самообнаружению и публичному самовыставлению – вне творчества – была не рассудочной программой, но органическим, естественным свойством природы?

Какой тугой и, видимо, горестный житейский узел сплелся в конце 1850-х – начале 1860-х годов во взаимоотношениях Островского и его первой жены Агафьи Ивановны, Островского и Л. П. Никулиной-Косицкой, Островского и Марьи Васильевны, будущей второй жены. Обыкновенный литератор вряд ли удержался бы от подробного изложения своей душевной жизни – хотя бы в письмах к друзьям.

В. Я. Лакшин перечисляет все имеющиеся отклики Островского на болезнь и смерть Агафьи Ивановны⁸.

Он страдал, он болел, в это время произошли резкие изменения во внешности, и Островский стал тем солидным бородатым старцем, каким и представляется сейчас.

Но что он думал, что переживал – никаких свидетельств, кроме пьес, где любящая и страдающая женщина будет им обласкана и воспета десятки раз. Неужто не имел он потребности выговаривания своих дум и чувств иначе как в творчестве? Или воспитал в себе духовную дисциплину такой невероятной силы, что она подминала и уничтожала все нетворческие проявления?

Тайна личности Островского, покуда не востребованная в полной мере отечественным искусствоведением, конечно, не будет и сейчас разгадана. Моя цель – через размышления о личности Островского и его творческом мире выявить главные особенности национального самосознания, национальной истории, национального характера. Потому основное тут – точка отсчета, угол зрения, построение своей цепи рассуждений. Нелишне и договориться заранее об аксиоматических положениях – о тех постулатах, которые я не буду доказывать за... невозможностью доказательства. Уговоримся с читателем о том, что сила и красота творений Островского исходили из силы и красоты его личности; что гений Островского не был бриллиантовой подвеской на блеклом основании; что его пьесы не сами собой рождались, но были написаны человеком, одним человеком; что, не имея потребности навязывать себя миру, Островский был таинственным и прекрасным результатом великого труда, в том числе и труда над собой; что то был исполинский ум, при соприкосновении с которым не одно поколение людей чувствует трепет изумления и восторга.

Жизнь – судьба

А. Н. Островский (1823–1886) прожил шестьдесят три года – не много и не мало, точно, и в этом ему была отпущена мера и соблюдена «золотая середина».

Одним из первых дал общую оценку главных свойств этой жизни профессор Ж. Патуйе, выпустивший в 1912 году свой обширный, старательный труд «Островский и его театр русских нравов». Он пишет о жизни драматурга: «Она протекала без примечательных происшествий, без резких кризисов, подвигов мысли и веры, как это было у Гоголя и Льва Толстого. Ни шумных доктрин, ни политических пристрастий. Наконец, ни суда, ни тюрьмы, ни ссылки»⁹.

⁷ Эфрос Н. Е. А. Н. Островский. Пг.: Колос, 1922. С. 25.

⁸ См. об этом: Лакшин В. Я. А. Н. Островский. М.: Искусство, 1976. С. 353–354, 417–422.

⁹ Patouillet J. Ostrovski, et son theatre de moers russes. Paris, 1912. P. 6.

В биографии Островского – славной, но сравнительно спокойной – действительно, ни тюрьмы, ни ссылки, ни войны, ни дуэли, ни сумасшествия... В высшей степени достойная жизнь, но будто вот просто жизнь, а не биография русского гения. Конечно, Островский прожил русскую жизнь – то есть под бременем определенных мук и тягот, но до крайностей не доходило.

Это отсутствие крайностей подвигло иных исследователей, избалованных русским трагизмом, на определение жизни Островского как скучной, благополучной, ничем особо не примечательной. Мнение Н. Е. Эфроса: «Тихо, вяло плетущаяся жизнь, однообразная и однотонная... не знающая ни бурь, ни взлетов, ни срывов; буднично благополучная или так же буднично опечаленная... серая жизнь»¹⁰. Это пишется в 1920-х годах, когда русский мартиролог XIX века был хорошо известен и шло активное пополнение в мартиролог века XX: на фоне катастрофических писательских судеб бытие Островского действительно могло показаться оазисом «скучного благополучия». Приняв трагедию за норму русского существования, конечно, можно и отмахнуться от «скучного» Островского. XIX век с его идеей «счастья для всех», однако, не признавал трагедию за норму, и современники Островского смотрели на его жизнь совсем другими глазами. Хорошо написал об этом в частном письме А. И. Урусов: «Он весь высказался, весь перешел в художественные создания, из которых многие бессмертны. Он был в этом отношении – да и в других тоже – счастлив. И умер без мучительной агонии. И это счастье»¹¹. Урусов не сравнивает судьбу Островского с судьбами русских гениев, но прилагает к ней обыкновенные мерки, какими люди меряют жизнь друг друга. И на месте унылых слов о вялой, серой жизни появляется иное слово – Счастье.

Вот и стала понятна теперь нота растерянности или даже раздражения у некоторых пишущих об Островском: проще описывать несчастную, катастрофическую жизнь, сложнее обдумать жизнь счастливую. Еще сложнее понять взаимоотношения этой личности и ее судьбы.

К примеру, Урусов пишет о счастливой, легкой смерти Островского – «умер без мучительной агонии». Современникам было с чем сравнивать: после мучительной агонии скончались Некрасов, Тургенев, Достоевский. Легкая смерть – чистый подарок судьбы? Или возможно как-то ее заслужить? Оно, конечно, нашему «жалкому, земному, эвклидовскому уму» вряд ли такие вопросы под силу. Но можно ли оспорить то, что в жизни и смерти художников, сотворивших нечто бессмертное, есть своя композиция. Мы можем не знать ее законов, но она живо чувствуется.

Островский имел определенную власть над своей судьбой. Именно это, пожалуй, самая характерная черта его жизни, а не отсутствие крайностей вроде тюрьмы или дуэли. Таких крайностей не было и у других крупных литераторов – у И. Гончарова, у Н. Лескова (правда, у них были трудности в связи с их самоутверждением в литературе). Самая сильная выходка судьбы (по отношению к Островскому) – это нога, расшибленная во время экспедиции по Волге (1856 год). Казалось бы, мелкий случай из личной жизни. Но не странно ли, что упавший и придавивший ногу тарантас по времени совпадает с обострением клеветнической кампании по обвинению Островского в плагиате, кампании, возглавленной Д. Горевым и поддержанной многими литераторами и даже артистами¹². Словно из туч злобы и зависти грянула молния, сумевшая нанести Островскому не только нравственный удар, но и физический.

Нога зажила, клевета рассеялась. Подобных внезапных ударов судьбы Островский, пожалуй, более не получал. Похоже, что и к течению своей жизни, и к ходу своей судьбы он относился с усердным вниманием, имея на то убеждения «для собственного употребления» (его

¹⁰ Эфрос Н. Е. А. Н. Островский. Пг.: Колос, 1922. С. 19.

¹¹ Письмо А. И. Урусова Н. А. Никулиной // Литературное наследство. Т. 88. Кн. 1. М.: Наука, 1972. С. 635.

¹² См. об этом: Лакшин В. Я. А. Н. Островский. М.: Искусство, 1976. Лобанов М. П. Островский. М.: Молодая гвардия, 1989.

выражение из пушкинской речи 1880 года). Примечательна своим изяществом автобиографическая заметка Островского, сделанная им в альбом Семевского. Как известно, в ней драматург подробно рассказал об особенной и роковой роли в его жизни... числа «14»¹³. Довольно трудно себе представить, чтобы подобное несерьезное заявление вышло из-под пера Щедрина, Достоевского или Толстого. На мой взгляд, эта заметка показывает нам живо и наглядно, конечно, не мистицизм или особую суеверность драматурга, а его тщательную приглядку к своей жизни, к взаимоотношениям жизни и судьбы в поисках каких-то законов или хоть закончиков. Разумеется, надо учесть и шутовство нашего драматурга, и его постоянную «уместность» – точное чувство того, что и как надо делать в том или ином случае, например длинных речей за обедом не говорить, а в альбом писать изящную безделицу. Однако отчего такую безделицу, не другую – тоже вопрос.

Законы судьбы не могли не волновать Островского – ведь он в творимом им мире был главное лицо, демиург и человеческими судьбами распоряжался по своему усмотрению. Он знал, как из-за людской беспечности, легкомыслия или дурного своеволия складывается неумолимый приговор. И он не был беспечен.

Свой «антилиризм» – как жизненную программу – он выработал, очевидно, в молодости. Во всяком случае, в его рецензии на повесть Писемского «Тюфяк» (1851) есть поразительное замечание. «В этом произведении вы не увидите ни любимых автором идеалов, – пишет Островский, которого во всю жизнь подозревали как раз в отсутствии “идеалов”, – не увидите его личных воззрений на жизнь, не увидите его привычек и капризов, о которых другие считают долгом довести до сведения публики. Все это только путает художественность и хорошо только тогда, когда *личность автора так высока, что сама становится художественной*» (разрядка моя. – Т. М.¹⁴).

Рискну утверждать, что редкий художник воздвигает между собою и обществом фильтр подобной силы! Запрещены все нехудожественные проявления личности. Можно пойти и несколько далее, предположив, что этот «фильтр» Островский установил и за пределами искусства.

Сделать свою личность художественной – пожалуй, следы такой работы можно угадать в нашем таинственном драматурге. И если в ранней молодости дело ограничивалось слабостью к щегольской одежде и рассматриванию себя в зеркале (а что ж, и это первые шаги к превращению себя в произведение искусства), то зрелые годы характерны исключительной силой внутренней отделки, обдуманностью всех проявлений.

Он избегал торопливых речей, ненужных слов, путаных дел, темных историй; политика и особенно болтовня о ней отвращали его – видимо, своей полной антихудожественностью; он всесторонне обдумывал людей и никогда не доверялся случайным собеседникам; он брал на свои плечи все, что вваливала жизнь, и никогда и ни от чего не отказался, не увильнул, не схитрил. Он, своим разумом преображавший материю жизни в божественное искусство, будто стремился продлить сие благодетельное преобразование и далее. Во всяком случае, трудно не заметить одного важного свойства его деятельности – стремления расширить возможную сферу своего влияния. Мало писать и печатать «пьесы» – надобно их играть, воздействуя таким образом на значительно большее количество умов (у Островского есть рассуждения на эту тему, что-де напечатанное становится достоянием одной лишь интеллигенции, а этого недостаточно). Мало быть драматическим писателем – надобно создать общество драматических писателей. Мало быть только лишь зависимым, гонимым драматургом – надобно подчинить своему воздействию весь театр. Внести в жизнь как можно более закона, порядка, композиции, то есть начатков художественности, – вот генеральное желание Островского.

¹³ См.: *Островский А. Н.* Полн. собр. соч.: В 12 т. М.: Искусство, 1973–1980. Т. 10. С. 461–462.

¹⁴ Разрядка заменена на курсив – *Редактор электронного издания.*

И хаотическая стихия поддавалась воле гения – нехотя, а поддавалась.

У Александра Николаевича Островского и его брата Михаила Николаевича была, как мне кажется, общая жизненная пружина – общая с их отцом Николаем Федоровичем.

Тот, выйдя из бедности, умер дворянином, помещиком и домовладельцем, но хлопоты его были материальные, сконцентрированные на нем самом и делах семейства. Александр Николаевич и Михаил Николаевич отличались неспешным, постепенным самоосуществлением – вплоть до достижения высшего положения в избранной сфере. М. Н. Островский достиг высшего чина в российском государстве – чина действительного тайного советника, но и А. Н. Островский тоже некоторым образом достиг «высшего чина» в избранной им сфере деятельности. Существовала, видимо, и генетическая программа, так своеобразно претворенная драматургом...

Повторю: Островский не оставил потомкам подробной объяснительной записки насчет своих взаимоотношений с судьбой. Можно, однако, изучив его творчество, примерно понять, какие были его представления о действии сей мировой силы. В его пьесах судьба ведет себя иррационально по отношению к людям, пребывающим в счастливой бессознательности: может ударить или обласкать равно беспричинно. Чуть только проблеск сознания – иррациональность съезживается, освобождая некоторое место и для причинно-следственной связи, и для законов – не арифметических, вестимо. Это Елесья Мигачев («Не было ни гроша, да вдруг алтын», 1871), художественный родственник Миши Бальзамина, может найти под деревом пачку денег. Иоасаф Наумович Корпелов («Трудовой хлеб», 1874), нищий учитель, образованный человек горькой судьбины, никогда никаких денег нигде не найдет. А если сознание и самосознание человека развиты до высшей степени, так, что он горазд выстроить и самую свою личность по законам художественной композиции – а так, очевидно, было у Островского, – не вступит ли в силу закон обратного влияния? Не получит ли человек долю законной власти над судьбой?

Вот он идет, наш честный труженик, смолоду пользующийся широкой и прочной славой, в окружении детей и друзей, приветливый и веселый, ловить рыбку в собственном поместье... Какая-то олеография, ей-богу, воскресная проповедь, недосмотрела тут русская жизнь, как она допустила эдакий лубок, удружила, нечего сказать, будущим биографам – так, что им и писать, понимаете, неизвестно о чем.

Ум

Прежде чем перейти к подробному рассмотрению личности А. Н. Островского, отмечу, что то был человек большого и оригинального ума, признанного, кажется, всеми современниками. Пресмешно отозвался о нем А. Дружинин: «Умный до ужасающей степени»¹⁵. Островский, до старости лет востривший и развивавший свой ум, ценил деятельность человеческого разума во всяких видах, но он понимал ум по-своему, соединяя с понятием «ум» понятия «гений» и «талант». Интересен отзыв Островского о Щедрине – Островский спорит с теми, кто разделяет талант и ум: «Главное в нем ум; а что такое талант, как не ум?»¹⁶ Получается, по Островскому, что талантливый человек не может быть неумен, а умный – неталантлив. Странно! Оригинально! Но может, это случайный отзыв, хотя мой читатель, надеюсь, уже усвоил, что случайного и хаотического в Островском почти что не было. Неслучайность замечания о Щедрине доказывает текст застольного слова о Пушкине, произнесенного во время торжественного обеда в честь открытия памятника поэту в 1880 году.

¹⁵ Цит. по: *Лакшин В. Я.* А. Н. Островский. М.: Искусство, 1976. С. 303.

¹⁶ А. Н. Островский в воспоминаниях современников. М.: Художественная литература, 1966. С. 293.

Редкий случай: Островский выступает с публичной речью. Она подготовлена им тщательно, написана, он читает по бумаге. Здесь его убеждения, важные мысли, которые он счел достойными для обнародования – а стало быть, просеянные им сквозь жесткое сито. Ни слова о гении, о даре, о чуде – об уме, только об уме. «Первая заслуга великого поэта в том, что через него умнеет все, что может поумнеть... <...>...поэт дает и самые формулы мыслей и чувств. Богатые результаты совершеннейшей умственной лаборатории делаются общим достоянием... <...> Пушкиным восхищаются и умнеют... <...> Наша литература обязана ему своим умственным ростом... <...>...нам остается только желать, чтобы Россия производила поболее талантов, пожелать русскому уму поболее развития и простора...»

Островский проводит разделение между умом творческим и умом обыкновенным: творческий ум открывает и предлагает истины, обыкновенный ум усваивает, «и то не вдруг». Стало быть, творческий ум и есть синоним таланта и гения, по Островскому. (Отличительный признак творческого ума – предлагать истины. Значит, Щедрин, предлагающий истины, – творческий ум – талант, и дальнейшее дробление анализа творческих и художественных способностей человека Островский как бы полагает уже излишним.)

Творческий ум Островского выражался не только в творчестве и в умном-разумном отношении к собственной жизни – умны и метки его обычные житейские суждения, даже заметки для себя. Мне, к примеру, очень нравится одно суждение Островского относительно «искусства для искусства»: «Процессы обобщения и отвлечения не сразу даются мозгу: они должны быть подготовлены. Обобщения, представляемые искусством, легче воспринимаются и постигаются и, практикуя ум, готовят его к научным открытиям. <...> Чем искусство выше, отрешеннее, общее, тем оно более практикует мозг. Таким образом, “искусство для искусства”, при всей своей видимой бесполезности, приносит огромную пользу развитию нации».

Подобного суждения я нигде не встречала более ни в веке XIX, ни позже. «Искусство для искусства» обычно защищают с помощью понятий о свободе творческой воли, о праве художника на самовыражение, о недопустимости утилитарных критериев в оценке произведений искусства. Что оно «практикует мозг нации» (тоже удивительное понятие!) и, стало быть, полезно, – не припомню такого мнения и не берусь его опровергать: оно похоже на истину. Заметьте, Островский пишет для себя, для «собственного употребления», но как упруго, афористично, с пушкинской отчетливостью и точностью; видимо, изучал его критический стиль внимательно. (Зря недоумевал П. Боборыкин насчет того, будто неясно, под какими эстетическими влияниями развился драматург. Пушкинское влияние очевидно.)

Сейчас, когда уже намечены основные «вертикали» личностного устройства А. Н. Островского, мы перейдем к более детальному, по чертам, по свойствам, обдумыванию его индивидуального «космоса». Главная опора здесь – его пьесы, его письма и воспоминания о нем современников.

Просто – непросто

«Физиономия Островского, – считает В. Лакшин, – плохо уловима из мемуаров, черты его расплываются. Белокурый, стройный, хорошо пел – рисует его один из воспоминателей. Смолоду грузный, рыжеватый, рано облысевший, никогда не слышали его поющим – настаивает другой... Надо сводить эти свидетельства на очную ставку, выверять, просеивать»¹⁷.

Черты расплываются? Но то, что приводит Лакшин в качестве примера «расплывчатости», есть два определенных портрета, которые каждый сам по себе и в этом качестве противоречат один другому. Значит, кто-то прав, а кто-то нет. Возможно ли, впрочем, ошибиться в собственном впечатлении? Ведь то впечатление, которое одна личность производит на другую,

¹⁷ Лакшин В. Я. А. Н. Островский. М.: Искусство, 1976. С. 3.

тоже есть своего рода неделимая единица и слагаемое этой личности. Из двух противоречащих друг другу свидетельств биографы Островского, как правило, исключают одно как неподлинное, ошибочное. Но точно ли это верный путь для постижения Островского – задаемся мы вопросом.

Возьмем воспоминания о молодой поре Островского кисти В. З. Головиной (Ворониной), они открывают книгу «А. Н. Островский в воспоминаниях современников». Головина познакомилась с Островским в 1849 году. Ее первое впечатление: «Белокурый молодой человек больше молчал и казался очень застенчивым и незанимательным, хотя смотрел на нас как-то не совсем просто». Его попросили прочесть пьесу, и он «очень мило и просто согласился»¹⁸.

Посмотрел непросто, а затем повел себя и мило, и просто. Конечно, это вовсе микропроявления, заметные одному придирчивому на мелочи девичьему глазу. Но подчеркну – микропроявления контрастные.

В этом самом первом воспоминании будто спрятан ключик, тайный «алгоритм» личности, загадочная «формула», развитие которой будет осуществляться во всю жизнь Островского.

Никогда и ни на кого не производил Островский впечатления раздвоенной, хаотической, мятущейся личности. «Цельный, гармонично устроенный, ясный», – вслед за многими определяет Н. Эфрос, приходя к выводу, что эта гармония необъяснима, она была дана Островскому как «подарок природы»¹⁹.

Я же считаю, что гармония личностного устройства драматурга была не даром, а результатом огромного труда и цельность, целостность были в какой-то мере завоеваны им и созданы. Даром было другое – я называю это «универсальный дар композиции».

Гармония – результат, композиция – инструмент; с помощью великого этого дара, дара упорядочивания, построения, согласования, соподчинения частей в целое, Островский претворял жизненные контрасты в драмы, а собственные разнонаправленные проявления – в целостность индивидуального мира. Дар композиции, могучий разум и тот деятельный свет души, что мы называем «добротой», соединяли множество противоречивых свойств Островского и контрастных проявлений его натуры в единый поток, как бы пронизывали своими мощными «вертикалями» обширную «горизонталь».

Рассмотрим теперь те контрастные проявления личности Островского, что удалось добыть из толщи фактов и мнений.

Христианин – язычник, порядочный – стихийный

Островский, видимо, очень рано воспринял основы христианской нравственности, и так живо, прочно и недвусмысленно, что во всю жизнь не имел соблазна ни богоискательства, ни атеизма. В основании его творческого мира лежат краеугольные камни, действительность которых не обсуждается, не подлежит сомнению. Трудно сыскать пьесу Островского, где не велась бы речь о Боге, Божьем суде, правде, грехе, совести, ответе – не нарочно, неназойливо. (Подхалюзин из «Банкрота» – и тот о совести рассуждает, и ловко.) «Чем же и свет стоит? Правдой и совестью только и держится» – похоже, что слова царя Берендея весьма близки и самому Островскому.

Он не находил никакой красоты во зле и вообще, как кажется, не питал к нему интереса. Даже демоническое (самое невинное, печоринского толка) ему было органически противно, и он из пьесы в пьесу высмеивал «красавцев мужчин», самолюбующихся и пустых.

¹⁸ А. Н. Островский в воспоминаниях современников. С. 30.

¹⁹ Эфрос Н. Е. А. Н. Островский. Пг.: Колос, 1922.

И в нем самом не было ничего коварно-чарующего, обольщающего: великое обаяние Островского исходило, судя по всему, совсем из другого источника.

Моральное напряжение пьес Островского очевидно, но в этом он не был одинок. В эту эпоху жили великие моралисты, учителя, проповедники – Гоголь, Достоевский, Лев Толстой. Поведение Островского сильно отличалось от их пути. Важно понять, что тут никто не лучше и не хуже, никто не прав более другого, – нам нужно всего лишь выявить разницу, особенность Островского. Он не искал Христа, подобно Достоевскому, не учил и не проповедовал, как Лев Толстой.

По свидетельству современников, Островский относился к учительству Толстого настороженно, чуть ли не враждебно – «что ты взялся умы мутить»²⁰, вообще строгое осуждение людских слабостей и пороков большим сочувствием драматурга не пользовалось.

В пьесе «Богатые невесты» (1876) Валентина Белесова, падшая, как раньше выражались, женщина, чудесно отвечает будто вот всем учителям, проповедникам нравственности: «В разговоре вообще стараются не показывать слишком явно своего умственного или нравственного превосходства над прочими. Надо шадить людей. Когда кто-нибудь с уверенностью полного мастера говорит об обязанностях человека – простые смертные, люди легкомысленные, такие, как я, должны думать, что этот урок относится к ним. <...> Ну, и конфузишься... торжествовать над нами легко. Но, мне кажется, и мы имеем право сказать учителю: да, мы легкомысленны, но мы не мешаем вам быть святым, не мешайте и нам быть грешными! Научить вы нас не научите, а оскорбить можете».

Всем персонажам своих пьес, тем, кто имеет идеалы, убеждения, кто учит, наставляет, проповедует, Островский явно сочувствует, а торжествовать, побеждать не дает им никогда.

Будучи человеком порядочным, христиански обустроенным, Островский никому своих тихих внутренних нравственных ритмов не навязывал. О его миролюбии, незлобивости и невздорности свидетельствует то, что ни с кем из своих великих собратьев по перу Островский во всю жизнь не поссорился, знаком же был со всеми, стало быть, возможность такую имел.

Некоторое охлаждение в отношениях с Львом Толстым или небольшие недоразумения с Некрасовым ни в какое сравнение не идут с морем обид, ссор, острых конфликтов – вплоть до третейского суда и дуэли, что плескалось вокруг него.

Вот ближайший соратник, М. Е. Салтыков-Щедрин, пишет в письме: прислал-де Островский пьесу, еще глупее «Богатых невест», и вообще хорошего в нем, в Островском, уже немного²¹. Такие шуточки в человеческом общении редко бывают тайными, найдутся желатели передать. Да и Щедрин был на редкость откровенен, все свои словечки повторял и в письмах, и устно, надо думать. Однако Островский если и знал, то не замечал – человек порядочный-упорядоченный, строго отделял главное от второстепенного, случайное от существенного в своем «космосе». Никаких обид, никаких неудовольствий Щедрина не высказывал.

Нравственность – она ведь и есть порядок, закон, космос супротив хаоса, беспорядка, беззакония.

Секретарь Островского Кропачев отмечает: «С неподражаемым умением и классической аккуратностью укладывал вещи в чемодан»²². Черта замечательная! И никогда не могущая быть случайной, изолированной, то есть люди, с классической аккуратностью укладывающие свои вещи в чемодан, как правило, стремятся урегулировать и все прочие свои проявления.

Ясен и аккуратен был Островский в деловых, товарищеских и дружеских отношениях. Всю жизнь жил трудом, не увлекаясь ни коммерцией, ни помещичьим хозяйством (в Щельково все делалось на потребу семьи, иногда меньше, иногда чуть больше), ни тем более азартными

²⁰ А. Н. Островский в воспоминаниях современников. С. 240.

²¹ Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч.: В 20 т. Т. 19. Кн. 1. М., 1971. С. 34.

²² А. Н. Островский в воспоминаниях современников. С. 483.

играми. Все недоразумения с коллегами и товарищами распутывал, проговаривал, выяснял, не доводил до болезненного состояния.

Однако будь Островский только примерным сыном православия, человеком порядка, закона, установления, разве он оставил бы нам свой театр, полный человеческих страстей, грехов, заблуждений и страданий? Ему было что преодолевать! В полной мере жила в нем стихия русской жизни, живой жизни – то была натура сильная, размашистая, до страсти влюбленная во все радости природного бытия.

Известно, как разгульно жила так называемая «молодая редакция» «Москвитянина». Сейчас, по прошествии многих лет, идейная основа этого кружка улавливается уже с большим трудом. Смутной она была – ведь все сходились не на идеях, а на основе общих ощущений, на остром чувстве национальной стихии. Главенствовал культ особого душевно-чувственного напряжения, ярче всего выраженный в совместном распивании и распевании. Г. Синюхаев считает даже, что именно во время ночных бдений с друзьями по «Москвитянину» Островский капитально подорвал свое здоровье²³.

«Страшно увлекался всем и всеми, особенно женщинами», – вспоминает один современник Островского²⁴, есть и другие тому свидетельства. Да, тут-то и было главное поле сражения, на котором хаос дал бой космосу. Не успел Островский осудить с точки зрения вековой морали героя пьесы «Не так живи, как хочется» – Петра Ильича, как и сам закружился под стать своему герою. Любовь смела его тихий семейный уют, опрокинула привычный и милый сердцу порядок, заставила страдать и причинять страдания.

Начиная со второй половины 1850-х годов в творчестве Островского наметится и зазвучит все сильнее могучий конфликт: морали и природы, обычая и воли, закона и стихии («Гроза» и «Грех да беда на кого не живет» – конечно, самые крупные случаи, но не единственные), в конечном счете это вековой спор Христа и Ярилы, религии страдания и религии солнца (потом, спустя много лет, об этом будет толковать В. В. Розанов и, чудак, ни словом не вспомнит об Островском). И важно понять, что Островский сам глубоко пережил и перестрадал все свои «вопросы».

В этой битве Островский не встанет ни на одну сторону. Он не будет во имя стихии, желания, воли, природы отменять нравственность, закон и порядок. «Все позволено» – немислимо для него даже в качестве предположения. Но и казнить именем закона человеческую волю и желание никогда не посмеет. Он пишет битву неразрешимых противоположностей, он драматург, но он в этой битве не хладнокровный объективный наблюдатель – она, очевидно, шла и в его сердце.

Замкнутый – общительный

«Островский вел довольно замкнутый образ жизни», – написал кропотливый реставратор биографии Островского А. Ревякин²⁵. Правда, тут же добавил с удивлением, что воспоминаний о драматурге осталось притом много. Позже, в 1950-х годах, Ревякин пересмотрит свою точку зрения и сочтет, что Островский «был по природе общительный»²⁶. Но тогда, в 1930-е годы, исследователь сказал о том впечатлении, которое произвело на него чтение отзывов современников. Понадобились годы трудов, изучений, чтобы это впечатление поменялось на противоположное.

²³ См.: Синюхаев Г. Т. Болезнь и смерть Островского // Памяти А. Н. Островского. Пг.: Путь к знанию, 1923. С. 117.

²⁴ А. Н. Островский в воспоминаниях современников. С. 394.

²⁵ Ревякин А. И. Островский и его современники. М.; Л.: Academia, 1931. С. 8.

²⁶ Ревякин А. И. Первая жена Островского // Литературное наследство. Т. 88. Кн. 1. М.: Наука, 1972. С. 466.

Ведь и те слова, которые мы привели ранее, – мнения Урусова, Боборыкина о неясности лица драматурга, его потаенности – тоже говорят в пользу версии о «замкнутости». Есть и другие свидетельства – о нелюбви к публичным выступлениям, о страсти к домоседству. Один только раз собрался за границу, один раз переехал с квартиры на квартиру, один раз побывал в экспедиции на Волге...

Тем не менее то был человек кружка, общества, союза, товарищества, братства. Взглянем на его жизненный путь: на всем протяжении вокруг Островского группируются люди, он образует какие-то объединения с собою в центре («молодая редакция» «Москвитянина», Артистический кружок, Общество русских драматических писателей) или входит в уже существующие (редакция «Современника»). Вся жизнь на людях. Круг общения Островского был весьма обширен: он знал практически всех писателей обеих столиц, о театрах же и говорить нечего, все известны – от машиниста до дирекции. Принимал разных посетителей, приятных и неприятных. Знал всех драматургов. Дружил со многими композиторами. Большие знакомства в купеческом сословии. Бывал на ежегодных обедах в честь основания Московского университета. Отказываясь от публичных речей, охотно участвовал в публичных чтениях. Общался с обитателями Кинешемского уезда как почетный мировой судья, исполнявший свои обязанности прилежно²⁷.

Как человек такого образа жизни может быть домоседом и вести замкнутый образ жизни, остается загадкой. Правда, Островский никогда не мелькал всуе, был «непримелькавшимся» и, может, потому отчасти непонятным. С другой стороны, он всегда с исключительной настойчивостью звал к себе в гости, особенно в Щельково, – значит, ощущал постоянную потребность в людях и страдал от их нехватки. Моделью сочетания общительности и замкнутости Островского могут служить его хорошие дни в Щельково: усадьба наполнена детьми, друзьями, приятелями, работниками, а он сидит один в кабинете, трудится. Такой широкий круг общения с замкнутым центром.

Самолюбивый – скромный

Самолюбие (самомнение) Островского признавали, кажется, все – недоброжелатели безоговорочно, друзья с объяснениями.

Считалось, что самомнение, заносчивость, хвастливость Островского – следствие ранней и громкой славы и обожания молодых друзей – упрочились с его лидирующим положением в театре и среди драматических писателей, превратившись уже в величавость.

«На протяжении более 20 лет я находил в Островском такую веру в себя, такое довольство всем, что он ни написал, какого я решительно не видел ни в ком из наших корифеев: ни у Тургенева, ни у Достоевского, ни у Гончарова, ни у Салтыкова-Щедрина и всего менее – у Некрасова», – вспоминает Боборыкин²⁸. Доброжелательный к Островскому М. Семевский пишет: «Александр Николаевич самолюбив, в том спору нет, но далеко же не так, как о нем рассказывают. По крайней мере, я не видел ни одной серьезной выходки гордого самолюбия и тщеславия»²⁹. Друг Островского, С. Максимов: «Лишенный всякого самомнения и тщеславия...» – так он определяет Островского³⁰, но буквально несколькими страницами спустя, словно с огорчением, пишет о хвастливости нашего драматурга: «Явный недостаток, правду сказать, резко бросавшийся в глаза»³¹.

²⁷ См. об этом: *Ревякин А. И.* А. Н. Островский в Щелькове М., 1978. С. 195–218.

²⁸ А. Н. Островский в воспоминаниях современников. С. 185.

²⁹ Там же. С. 139.

³⁰ Там же. С. 93.

³¹ Там же. С. 110.

Итак, три мнения: недоброжелательное, приятельски-спокойное и дружеское.

Они, пожалуй, сходятся в общей точке, имеют в виду один и тот же предмет. Боборыкин находится на расстоянии от Островского, он чужой, и самомнение драматурга кажется ему огромным. Семевский – ближе, но не слишком близко, оттого его мнение самое уравновешенное, сбалансированное. Самолюбив, дескать, бесспорно, но без выходов, нормально самолюбив. Максимов стоит совсем близко, и его портрет Островского решительно двоятся: Островский одновременно лишен всякого самомнения и тщеславия и явно хвастлив, так, что аж в глаза бросается. Попробуйте-ка смонтировать гомункулуса из хвастливости и полного отсутствия самомнения – и вы поймете тяжелую долю биографов Островского. Пойдем далее, вот перед читателем цепь суждений, принадлежащих современникам Островского: «комическая хвастливость» (Д. Стахеев)³²; «любил овации, как человек до крайности самолюбивый, считавший себя совершенством во многих отношениях» (Н. Берг)³³; «застенчивый, как девушка» (И. Горбунов)³⁴; «поразительная скромность» (С. Максимов)³⁵; «скромность, добродушие» (М. Семевский)³⁶; «человек очень застенчивый и робкий» (В. Минорский)³⁷; «был высокого мнения о своей наружности, любил смотреться в зеркало» (К. Де-Лазари)³⁸; «любил поклонение и благоговение к своей особе» (А. Соколов)³⁹...

Самолюбивый и скромный, застенчивый и хвастливый. А ведь это не герой Достоевского, а цельный, «ясный» Островский. Точно он, с классической аккуратностью складывавший вещи в чемодан, с тою же непостижимой аккуратностью сложил разнородные свойства своей личности в единое целое.

Надо, однако, разбираться: самолюбие самолюбию рознь. Каково было самолюбие Островского? Более всего похоже на правду то, что это было полновесное осознание своей ценности, следственно, обращение с самим собою как с ценностью. С теми, кто эту ценность не признавал или не считался с нею, можно было вести себя так, «чтоб чувствовали». А коли ценность личности признавалась безусловно, то уместна была скромность и даже самоумаление.

Лев Толстой, чью человековедческую проницательность трудно опровергнуть, по словам В. Лазурского, сказал о драматурге следующее: «Это была его слабая сторона – придавать себе большое значение: “я, я”»⁴⁰. В тон ему заметит Островский: «Уж очень он, Лев... самолюбив, не любит, если ему правду в глаза говорят»⁴¹. Это заочное препирательство двух титанов по вопросу о том, кто из них двоих самолюбивее, производит слегка комическое впечатление. Но все-таки Толстой говорит об одном роде самолюбия, а Островский – о другом. Островский выделял самолюбие в особую статью рассуждения и в частных разговорах (никогда – публично) среди несимпатичных ему черт Гоголя, Достоевского, Тургенева называл эгоизм и страшное самолюбие. «Это был человек страшного самолюбия» (о Гоголе)⁴², «страшно изломанный, самолюбивый до болезни» (о Достоевском)⁴³.

Сознание своей ценности и своего значения в Островском не доходило ни до сумасшествия, ни до болезни, ни до желания проповедовать миру. Опять-таки напоминаю, это никак

³² Стахеев Д. И. Островский // Исторический вестник. 1907. № 11. С. 470.

³³ А. Н. Островский в воспоминаниях современников. С. 40.

³⁴ Там же. С. 50.

³⁵ Там же. С. 125.

³⁶ Там же. С. 140.

³⁷ Там же. С. 310.

³⁸ Там же. С. 394.

³⁹ Соколов А. А. Из воспоминаний старого театрала // Театральный мирок. 1892. № 31. С. 2.

⁴⁰ А. Н. Островский в воспоминаниях современников. С. 308.

⁴¹ Там же. С. 304.

⁴² Там же. С. 295.

⁴³ Там же. С. 296.

не означает, что Островский «лучше» Достоевского или Гоголя (хотя в обычном, житейском, пошлом, обывательском смысле слова это где-то и так, то есть общаться обыкновенному человеку с Островским было гораздо легче, чем с другими титанами). Заметим, что и те, кто толкует о самолюбии Островского, не говорят, однако же, об эгоизме или эгоцентризме.

Островский мог резко и пренебрежительно отозваться о самолюбии другого человека. Он пишет Бурдину о театральных делах: «Скучные притязания г[...] самолюбия, вроде притязания Нильского». Но в его письмах нет и самовосхваления. В письме к П. Анненкову (1871) он даже относит себя к числу «нехитрых художников». Утешая друга Бурдина, провалившего роль, отмежевывается от своего самолюбия: «Я не самолюбив и пьес своих высоко не ставлю».

Правда, совсем другая картина наблюдается в многочисленных обращениях и записках Островского «по начальству». Тут при всяком удобном случае Островский напомнит о своих заслугах, ничуть не стесняясь в выражениях: здесь будут те самые «я, я», о которых говорил Толстой («Я – все: и академия, и меценат, и защита... <...>...по своим врожденным способностям я стал во главе сценического искусства... <...>...Садовский своей славой был обязан мне... <...>...Линская и Левкеева называли меня “наш боженька”...<...>... я – прибежище для артистов; я им дорог, как глава...»).

Но все перечисляемые им заслуги реальны, ничто не приписано, не раздуто.

Островского живо волновала, а иногда и больно ранила разница между ощущением своей ценности, ценности своих творений и дел и *оценкою* их другими. Он с горечью воспринял факт недооценки Некрасовым «Снегурочки» – недооценки буквальной, в денежном измерении. Он счел необходимым отстоять значение своего произведения. Но если наступало желанное равновесие между ценностью и оценкой, Островский совершенно успокаивался и уж никак не величался. Раз Анненков так сердечно отнесся к его творчеству, так высоко его оценил, то нелишне и умалиться немного, изобразить себя «нехитрым художником», скромным любителем художественного труда и отделки.

Вот тут ясно видно, как работал «универсальный дар композиции», как драматург чувствовал и соблюдал меру личностных проявлений.

Он мог быть скромен с друзьями, поклонниками, артистами, начинающими драматургами, со всеми, кто безусловно признавал его ценность. Чуть только веяло холодом, враждой, недооценкой – преображался и Островский. «Он был несколько странен, – вспоминает А. Соколов, журналист, известный под псевдонимом Театральный нигилист, – все как будто бы боялся, чтобы с ним кто-нибудь не обошелся фамильярно»⁴⁴. Так небось Театрального нигилиста и боялся, и ему подобных, боялся фамильярности – а фамильярность и есть неуважительное, пренебрежительное отношение к ценности и значению другого.

При любых признаках недооценки Островский сам вставал на защиту желанного равновесия и сам его восстанавливал, своим словом. Боборыкин похвалил какую-то роль в его пьесе, и Островский «с добродушной улыбкой выговорил невозмутимо»: «Ведь у меня всегда все роли – превосходные»⁴⁵ – думаю, что все составляющие этого великолепного ответа (добродушная улыбка, невозмутимость, сам текст) были специально изготовлены для Боборыкина, который Островского никогда как должно не ценил, и Островский это знал.

Островский не любил холода, боялся его – всякого холода, и физического, и душевного, и бытийного, великого холода земной жизни. Дома он кутался в меховые халаты, прятал ноги в «медвежий ковер», мечтал, что на новой квартире, в доме князя Голицына, удастся «прикопить тепла». Смолоду звучат в его письмах жалобы на холод («... Ничего теплого у меня нет», – жалобно пишет он М. Погодину). «А так жить холодно», – скажет его заветная героиня Лариса-бесприданница; и вообще тема «тепла» (любви, ласки, дружбы, быта, чаепития, юмора)

⁴⁴ Соколов А. А. Из воспоминаний старого театрала // Театральный мирок. 1892. № 31. С. 2.

⁴⁵ А. Н. Островский в воспоминаниях современников. С. 187.

и «холода» (смерти, вражды, обмана, потери дома) – одна из главнейших в его творчестве, о чем еще будет дальнейшее рассуждение.

Это была его личная тема, личное, лирическое мироощущение. Он, видимо, страдал от любых проявлений душевного холода – вот и Некрасову, не оценившему «Снегурочку», пишет: «... Незаслуженная холодность и резкость Вашего письма в моей искренней и постоянно расположенной к вам душе возбудили очень много горьких чувств и размышлений...» И если холод подступал к нему слишком близко, он вырабатывал необходимое для жизни тепло сам, пусть и с помощью собственных горячих одобрений своего труда.

В оценке внешнего мира все это могло показаться и самомнением, и хвастливостью. Я определяю это как соблюдение меры тепла и холода, необходимой для жизнедеятельности личности. Контрастные проявления Островского этого рода (самолюбие – скромность, хвастливость – застенчивость) отнюдь не признак хаотичности, раздвоенности натуры, но и не примыслены одними лишь недоброжелательными современниками. Тут была своя логика, своя композиция.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.